

СТАНЦИЯ ЗИМА

Мы чем взрослей, тем больше откровенны.
За это благодарны мы судьбе.

И совпадают в жизни перемены
с большими переменами в себе.

И если на людей глядим иначе,
чем раньше мы глядели,

если в них

мы открываем новое,

то, значит,

оно открылось прежде в нас, в самих.

Конечно, я не так уж много прожил,
но в двадцать все пересмотрел опять —
что я сказал,

но был сказать не должен.

что не сказал,

но должен был сказать.

Увидел я, что часто жил с оглядкой,
что мало думал, чувствовал, хотел,
что было в жизни, чересчур уж гладкой,
благих порывов больше, а не дел.

Но средство есть всегда в такую пору
набраться новых замыслов и сил,
опять земли коснувшись, по которой
когда-то босиком еще пылил.

Мне эта мысль повсюду помогала,
на первый взгляд обычная весьма,
что предстоит мне где-то у Байкала
с тобой свиданье, станция Зима.

Хотелось мне опять к знакомым соснам,

свидетельницам давних тех времен,
когда в Сибирь за бунт крестьянский сослан
был прадед мой с такими же, как он.
Сюда

сквозь грязь и дождь

из дальней дали,

в края запаутиненных стволов,
с детишками и женами их гнали,
Житомирской губернии хохлов.
Они брели, забыть о многом силясь,
чем каждый больше жизни дорожил.
Конвойные с опаскою косились
на руки их, тяжелые от жил.
Крыл унтер у огня червей крестями,
а прадед мой в раздумье до утра
брал пальцами, как могут лишь крестьяне,
прикуривая, угли из костра.
О чем он думал?

Думал он, как встретит

их неродная эта сторона.

Приветит или, может, не приветит, —
бог ведает, какая там она!

Не верил он в рассказы да в побаски,
которые он слышал наперед,
мол, там простой народ живет по-барски.
(Где и когда по-барски жил народ?)

Не доверял и помыслам тревожным,
что приходили вдруг, не веселя, —
ведь все же там пахать и сеять можно,
какая-никакая, а земля.

Что впереди?

Шагай!

Там будет видно.

Туда еще брести — не добрести.

А где она,

Украйна, маты ридна?

К ней не найти обратного пути.

Да, к соловью нема пути,
на зорьке сладко певшему.
Вокруг места, где не пройти
ни конному, ни пешему,
ни конному, ни пешему,
ни беглому, ни лешему.

Крестьяне, поневоле новоселы,
чужую землю этой стороны
сочесть своей недолей невеселой
они, наверно, были бы должны.
Казалось бы, с нерадостью большою
они ее должны бы принимать:
ведь мачеха, пусть с доброю душою, —
она, понятно, все-таки не мать.
Но, землю эту в пальцах разминая,
ее водой своих детей поя,
любуюсь ею, поняли:

родная!

Почувствовали:

кровная,

своя...

Потом опять влезали постепенно
в хомут бедняцкий, в горькое житье.
Повинен разве гвоздь,

что лезет в стену?

Его вбивают обухом в нее.

Заря не петухами их будила —

петух в нутре у каждого сидел.

Но, как ни гнули спины, выходило:

не сами ели хлеб, а хлеб их ел.

За молотьбой, косьбой,

уборкой хлеба,

за полем, домом и гумном своим,

что вдоволь правды там, где вдоволь хлеба,

и хватит с них вполне,

казалось им.

И в хлеб, как в Бога, веривший мой прадед,
неурожаи знавший без числа,
наверное, мечтал об этой правде,
а не о той, которая пришла.
Той правде было прадедовской мало.
В ней было что-то новое, свое.
Девятилетней девочкою мама
встречала в девятнадцатом ее.
Осенним днем в стрельбе, что шла все гуще,
возник на взгорье конник молодой,
пригнувшись к холке,
с рыжим чубом, бьющим
из-под папахи с жестяной звездой.
За ним, промчавшись в бешеном разгоне
по ахнувшему старому мосту,
на станцию вымахивали кони,
и шашки трепетали на лету.
Добротное, простое было что-то,
добытое уже наверняка
и в том, что прекратил блатных налеты
приезжий комиссар из Губчека,
и в том, что в жарком клубе ротный комик
изображал,
как выглядят враги,
и в том, что постоялец —
рыжий конник —
остервенело
чистил
сапоги.
Влюбился он в учительницу страстно
и сам ходил от этого не свой,
и говорил он с ней о самом разном,
но больше все —
о гидре мировой.
Теорией, как шашкою, владея
(по мнению эскадрона своего),

он заявлял, что лишь была б идея,
а нету хлеба —

это ничего.

Он утверждал, восторженно бушуя,
при помощи цитат и кулаков,
что только б в океан спихнуть буржуя,
все остальное —

пара пустяков.

А дальше жизнь такая, просто любо:
построиться,

знамена развернуть,

«Интернационал»

и солнце — в трубы,

и весь в цветах —

прямой к Коммуне путь!

И конник рыжий, крут, как «либо-либо»,
набив овсом тугие торока,
сел на коня,

учительнице лихо

сказал:

«Еще увидимся... Пока!»

Взглянул,

привстав на стременах высоко,

туда,

где ветер порохом пропах,

и конь понес,

понес его к востоку,

мотая челкой, в лентах и репьях...

Я вырастал,

и, в пряталки играя,

неуловимы, как ни карауль,

глядели мы из старого сарая

в отверстия от кашпелевских пуль.

Мы жили в мире шалостей и шанег,

когда, привстав на танке головном,

Гудериан в бинокль глазами шамал

Москву с Большим театром и Кремлем.

Забыв беспечно об угрозах двоек,
срывались мы с уроков через дворик,
бежали полем к берегу Оки,
и разбивали старую копилку,
и шли искать зеленую кобылку,
и наживляли влажные крючки.

Рыбачил я,

бумажных змеев клеил
и часто с непокрытой головой
бродил один, обсасывая клевер,
в сандалиях, начищенных травой.
Я шел вдоль черных пашен,

желтых улыев,

смотрел, как, шевелясь еще слегка,
за горизонтом полузатонули
наполненные светом облака.

И, проходя опушкой у стана,
привычно слушал ржанье лошадей
и засыпал спокойно и устало
в стогах, что потемнели от дождей.
Я жил тогда почти что бестревожно,
но жизнь,

больших препятствий не чиня,
лишь оттого казалась мне несложной,
что сложное

решали за меня.

Я знал, что мне дадут ответы дружно
на все и «как?», и «что?», и «почему?»,
но получилось вдруг, что стало нужно
давать ответы эти самому.

Продолжу я с того, с чего я начал,
с того, что сложность вдруг пришла сама,
и от нее в тревоге, не иначе,
поехал я на станцию Зима.

И в ту родную хвойную таежность,
на улицы исхоженные те

привез мою сегодняшнюю сложность
я на смотрины к прежней простоте.
Стараясь в лица пристально взглядеться
в неравной обоюдности обид,
друг против друга встали

Юность с Детством

и долго ждали:

кто заговорит?

Заговорило Детство:

«Что же... здравствуй.

Узнало еле.

Ты сама виной.

Когда-то, о тебе мечтая, часто
я думало, что будешь ты иной.

Скажу открыто, ты меня тревожишь,
ты у меня в большом еще долгу».

Спросила Юность:

«Ну а ты сможешь?»

И Детство улыбнулось:

«Помогу».

Простились, и, ступая осторожно,
разглядывая встречных и дома,
я зашагал счастливо и тревожно
по очень важной станции —

Зима.

Я рассудил заранее на случай,
в предположеньях, как ее дела,
что если уж она не стала лучше,
то и не стала хуже, чем была.
Но почему-то выглядели мельче
Заготзерно, аптека и горсад,
как будто стало все гораздо меньше,
чем было девять лет тому назад.
И я не сразу понял, между прочим,
описывая долгие круги,
что сделались не улицы короче,
а просто шире сделались шаги.

Здесь раньше жил я, как в своей квартире,
где, если даже свет не зажигать,
я находил секунды в три-четыре,
не спотыкаясь, шкаф или кровать.
Быть может, изменилась обстановка,
а может, срок разлуки был велик,
но задевал я в этот раз неловко
все то, что раньше обходить привык.
Здесь резали мне глаз необычайно
и с нехорошей надписью забор,
и пьяный, распростершийся у чайной,
и у раймага в очереди спор.
Ну ладно, если б это где-то было,
а то ведь здесь, в моем краю родном,
к которому приехал я за силой,
за мужеством, за правдой и добром.
Слал возчик ругань в адрес горсовета,
дрались под чей-то хохот петухи,
и запыленно слушали всё это,
не поводя и ухом, лопухи.
Я ждал иного, нужного чего-то,
что обдало бы свежестью лицо,
когда я подошел к родным воротам
и повернул железное кольцо.
И верно, сразу, с первых восклицаний:
«Приехал! — Женька! —

Ух, попробуй сладь!»,

с объятий, поцелуев, с порицаний:
«А телеграмму ты не мог послать?»,
с угрозы:

«Самовар сейчас раздуем!»,
с перебираний — сколько лет прошло! —
как я и ждал, развеялось раздумье,
и стало мне спокойно и светло.
И тетя Лиза, полная тревоги,
свое решенье вынесла, тверда:

«Тебе помыться надо бы с дороги,
а то я знаю эти поезда...»

Уже мелькали миски и ухваты,
уже во двор вытаскивали стол,
и между стрелок лука сизоватых
я, напевая, за водою брел.
Я наклонялся, песнею о Стеньке
колодец, детством пахнувший, будя,
и из колодца, стучаясь о стенки,
сверкая мокрой цепью, шла бадья...
А вскоре я, как видный гость московский,
среди расспросов, тостов, беготни,
в рубахе чистой, с влажною прической,
сидел в кругу сияющей родни.
Ослаб я для сибирских блюд могучих
и на обилье их взирал в тоске.
А тетя мне:

«Возьми еще огурчик.

И чем вы там питаетесь, в Москве?
Совсем не ешь! Ну просто неприлично...
Возьми пельменей... Хочешь кабачка?»
А дядя:

«Что, привык небось к „Столичной“?»

А ну-ка, выпьем нашего „сучка“!
Давай, давай...

А все же, я сказал бы,
нехорошо уже с твоих-то лет!
И кто вас учит?

Э, смотри, чтоб залпом!

Ну, дай бог, не последнюю!

Привет!»

Мы пили и болтали оживленно,
шутили,

но когда сестренка вдруг
спросила, был ли в марте я в Колонном,
все как-то посерьезнели вокруг.

Заговорили о делах насущных,
которыми был полон этот год,
и о его событиях, несущих
немало размышлений и забот.
Отставил рюмку дядя мой Володя:
«Сейчас любой с философами схож.
Такое время.

Думают в народе.

Где, что и как — не сразу разберешь.
Выходит, что врачи-то невиновны?
За что же так обидели людей?
Скандал на всю Россию, безусловно,
а все, наверно, Берия-злодей...»
Он говорил мне,

складно не умея,

о том, что волновало в эти дни:

«Вот ты москвич.

Вам там, в Москве, виднее.

Ты все мне по порядку объясни!»
Как говорится, взяв меня за грудки,
он вовсе не смущался никого.
Он вел изготовление самокрутки
и ожидал ответа моего.
Но думаю, что, право, не напрасно
я дяде, ожидавшему с трудом,
как будто все давно мне было ясно,
сказал спокойно:

«Объясню потом».

Постлали, как просил,

на сеновале.

Улегся я и долго слушал ночь.

Гармонь играла.

Где-то танцевали,

и мне никто не в силах был помочь.

Свежело.

Без матраса было колко.

Шуршал и шевелился сеновал,

а тут еще меньшей братишка Колька
мне спать неугомонно не давал.
И заводил назревший разговор —
что ананас — он фрукт или же овощ,
знаком ли мне вратарь «Динамо» Хомич
и не видал ли гелиокоптер...
А утром я, потягиваясь малость,
присел у сеновала на мешках.
Заря,

сходя с востока,
оставалась
у петухов на алых гребешках.
Туман рассветный становился реже,
и выплывали из него вдали
дома,
шестами длинными скворешен
отталкиваясь грузно от земли.
По улицам степенно шли коровы,
старик-пастух пощелкивал бичом.
Все было крепким, ладным и здоровым,
и не хотелось думать ни о чем.
Забыв поесть, не слушая упреков,
набив карманы хлебом, налегке,
как убегал когда-то от уроков,
да, точно так — я убежал к реке.
Ногами увязая в теплом иле,
я подошел к прибрежной старой иве
и на песок прилег в ее тени.

Передо мной Ока шумела ровно.
По ней неторопливо плыли бревна,
и сталкивались изредка они.
Гудков далеких доходили звуки.
Звенели комары.

Невдалеке
седой путеец, подвернувши брюки,

стоял на камне с удочкой в руке
и на меня сердито хмурил брови,
стараясь видом выразить своим:
«Чего он тут?

Ну, ладно, сам не ловит,
а то ведь не дает ловить другим...»
Потом, в лицо взглядевшись хорошенько,
он подошел:

«Неужто?

Погоди!..

Да ты не сын ли Зины Евтушенко?
И то гляжу...

Забыл меня, поди...

Ну, бог с тобою!

Из Москвы?

На лето?

А ну-ка, тут пристроиться позволъ...»
Присел он рядом,

развернул газету,
достал горбушку, помидоры, соль.

Устал я, на вопросы отвечая.

И все-то ему надо было знать:

стипендию какую получаю,
когда откроют Выставку опять.

Старик он был настырный и колючий

и вскоре с подковыркой речь завел,

что раньше молодежь была получше,

что больно скучный нынче комсомол.

«Я помню твою маму лет в семнадцать,

за ней ходили парни косяком,

но и боялись —

было не угнаться

за языком таким и босиком.

В шинелишках, по росту перешитых,

такие же,

я помню,

как она,

что косы — буржуазный пережиток,
на митингах кричали дотемна.
О чем-то разглагольствовали грозно,
всегда каких-то полные идей, —
ну, скажем, поднимали вдруг серьезно
вопрос «обобществления» детей!..
Конечно, и смешного было много
и даже просто вредного подчас,
но я скажу:

 берет меня тревога,
что нет задора ихнего у вас.
И главное, —
 пускай меня осудят, —
у вас не вижу мыслей молодых.
А у людей всегда, дружок, по сути,
такой же возраст, как у мыслей их.
Есть молодежь, а молодости нету..
Что далеко идти?..

 Вот мой племяш, —
и двадцать пять не стукнет в зиму эту,
а меньше тридцати уже не дашь.
Что получилось?

 Парень был как парень,
и, понимаешь, выбрали в райком.
Сидит, зеленый, в прениях запарен,
стучит руководящим кулаком.
Походку изменил.

 Металл во взгляде.
И так насчет речей теперь здоров,
что не слова как будто дела ради,
а дело существует ради слов!
Все гладко в тех речах, все очевидно...
Какой он молодой,

 какой там пыл?!
Поскольку это вроде не солидно,
футбол оставил, девушек забыл.

Ну, стал солидным он, а что же дальше?
Где поиски,
 где споров прямота?
Нет, молодежь теперь не та, что раньше,
и рыба тоже
 (он вздохнул)

 не та...
Ну, вот мы и откушали как будто,
давай закинем, брат, на червячка...»
И, чмокая, снимал через минуту
он карася отменного с крючка.
«Ну и отъелся, а? Вот это прибыль!» —
сиял, дивясь такому карасю.
«Да ведь не та, вы говорили, рыба...»
Но он хитро:

 «Так я же не про всю...»
И, улыбаясь, погрозил мне пальцем,
как будто говорил:

 «Имей в виду:
карась-то, брат, на удочку попался,
а я уж на нее не попаду...»

За тетинными жирными супами
в беседах стал я жидок, бестолков.
И что мне тот старик все лез на память?
Ну, мало ли на свете стариков!
Ворчала тетя:

 «Я тебе не теща,
чего ж ты все унылый и смурной?
Да брось ты это, парень! Будь ты проще.
Поедем-ка по ягоды со мной».
Три женщины и две девчонки куцых,
да я...

 Летел набитый сеном кузов
среди полей, шумящих широко.
И, глядя на мелькание косилок,

коней,
 колосьев,
 кепок
 и косынок,
мы доставали булки из корзинок
и пили молодое молоко.
Из-под колес взметались перепелки,
трещали, оглушая перепонки.
Мир трепыхался, зеленел, галдел.
А я — я слушал, слушал и глядел.
Мальчишки у ручья швыряли камни,
и солнце распалившееся жгло,
но облака накапливали капли,
ворочались, дышали тяжело.
Все становилось мгlistей, молчаливей,
уже в стога народ колхозный лез,
и без оглядки мы влетели в ливень,
и вместе с ним и с молниями — в лес!
Весь кузов перестраивая с толком,
мы разгребали сена вороха
и укрывались...

 Не укрылась только
попутчица одна лет сорока.
Она глядела целый день устало,
молчала нелюдимо за едой
и вдруг сейчас приподнялась и встала,
и стала молодою-молодой.
Она сняла с волос платочек белый,
какой-то шалой лихости полна,
и повела плечами и запела,
веселая и мокрая она:

«Густым лесом босоногая
девчоночка идет.
Мелку ягоду не трогает,
крупну ягоду берет».

Она стояла с гордой головою,
и все вперед — и сердце и глаза,
а по лицу —
хлестанье мокрой хвои,
и на ресницах —
слезы и гроза.

«Чего ты там?
Простудишься, дурила...» —
ее тянула тетя, беребя.

Но всю себя она дождю дарила,
и дождь за это ей дарил себя.
Откинув косы смуглою рукою,
глядела вдаль,
как будто там,
вдали,

поющая
увидела такое,
что остальные видеть не могли.
Казалось мне,
нет ничего на свете,
лишь этот, в тесном кузове полет,
нет ничего —
лишь бьет навстречу ветер,
и ливень льет,
и женщина поет...

Мы ночевать устроились в амбаре.
Амбар был низкий.

Душно пахло в нем
овчиною, сушеными грибами,
моченою брусникой и зерном.
Листом зеленым веники дышали.
В скольжении лучей и темноты
огромными летучими мышами
под потолком чернели хомуты.
Мне не спалось.

Едва белели лица,
и женский шепот слышался во мгле.

Я вслушался в него:

«Ах, Лиза, Лиза,
ты и не знаешь, как живется мне!
Ну, фикусы у нас, ну, печь-голландка,
ну, цинковая крыша хороша,
все вычищено,
выскоблено,
гладко,
есть дети, муж,
но есть еще душа!

А в ней какой-то холод, лютый холод...
Вот говорит мне мать:

«Чем плох твой Петр?
Он бить не бьет,
на сторону не ходит,
конечно, пьет,
а кто сейчас не пьет?»

Ах, Лиза!

Вот придет он пьяный ночью,
рычит, неужто я ему навек,
и грубо повернет

и — молча, молча,
как будто вовсе я не человек.
Я раньше, помню, плакала бессонно,
теперь уже умею засыпать.
Какой я стала...

Все дают мне сорок,
а мне ведь, Лиза,
только тридцать пять!
Как дальше буду?

Больше нету силы...
Ах, если б у меня любимый был,
уж как бы я тогда за ним ходила,
пускай бы бил, мне только бы любил!
И выйти бы не думала из дому
и в доме наводила красоту.

Я ноги б ему вымыла, родному,
и после воду выпила бы ту...»
Да это ведь она сквозь дождь и ветер
летела молодою-молодой,
и я —

я ей завидовал,
я верил
раздольной незадумчивости той.
Стих разговор.

Донесся скрип колодца —
и плавно смолк.

Все улеглось в селе,
и только сыто чавкали колеса
по втулку в придорожном киселе...
Нас разбудил мальчишка ранним утром
в напяленном на майку пиджаке.
Был нос его воинственно облуплен,
и медный чайник он держал в руке.
С презреньем взгляд скользнул по мне,
по тете,
по всем дремавшим сладко на полу:
«По ягоды-то, граждане, пойдете?
Чего ж тогда вы спите?»

Не пойму...»
За стадом шла отставшая корова.
Дрова босая женщина колола.
Орал петух.

Мы вышли за село.
Покосы от кузнечиков оглохли.
Возов застывших высились оглобли,
и было над землей синё-синё.
Сначала шли поля,
потом подлесок
в холодном блеске утренних подвесок
и птичьей хлопотливой суете.
Уже и костяника нас манила,

СОДЕРЖАНИЕ

Станция Зима	5
Братская ГЭС. <i>Отрывки из поэмы</i>	39
Пушкинский перевал	90
Итальянские слезы	97
Коррида	104
Под кожей статуи Свободы	118
Северная надбавка	181
Голубь в Сантьяго. <i>Повесть в стихах</i>	214
Дальняя родственница	272
Дора Франко. <i>Доисповедь</i>	280

Евтушенко Е.

Е 92 Поэт в России — больше, чем поэт : поэмы / Евгений Евтушенко. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 320 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-08897-9

«Поэт в России — больше, чем поэт» — эти крылатые строчки из поэмы «Братская ГЭС» Евгения Александровича Евтушенко, знаменитого поэта-«шестидесятника», могли бы стать эпиграфом к его творчеству. Бунтарь, мечтатель, оратор и трибун, он восславил поэзию, которая бросилась «на приступ улиц», и был одним из тех, чье творчество явилось глотком свободы и правды для многих людей. Сегодня Евтушенко знают во всем мире, его произведения переведены более чем на семьдесят языков, а на его стихи написаны десятки песен («Хотят ли русские войны?», «Со мною вот что происходит...», «А снег повалится, повалится...», «Дай Бог!» и другие).

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Литературно-художественное издание

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВТУШЕНКО
ПОЭТ В РОССИИ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Ксения Казак, Наталья Бобкова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.04.2017. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 14,1.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



AVAK1690903R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/